

Исторические перспективы заката Европы сто лет спустя¹

В.И. КЛИСТОРИН, доктор экономических наук, Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Новосибирск. E-mail: klistorin@ieie.nsc.ru

В статье представлены комментарии ко второму тому известной работы О. Шпенглера «Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории», который носит многозначительное название «Всемирно-исторические перспективы». Говоря об упадке западной фаустовской культуры, Шпенглер описывает перспективы развития альтернативных арабской и русской магических культур, но в основном пытается охарактеризовать тенденции западной культуры, под которой легко угадывается немецкая. Шпенглер прогнозирует кризис демократии, политических партий и парламентаризма, упадок права и экономики. Он провозглашает наступление в XX веке в Европе эпохи цезаризма и борющихся царств, требующей максимальной мобилизации сил наций и государств, и доказывает, что будут созданы новая теория права, новая политэкономия и новое общественное устройство, которое он определяет как социализм.

Ключевые слова: культура, цивилизация, сословия, народ, нация, аристократия, бонапартизм, цезаризм, демократия, капитализм, социализм

Под «бонапартистом» я разумею вообще всякого, кто смешивает выражение «отечество» с выражением «ваше превосходительство» и даже отдаёт предпочтение последнему перед первым.

М.Е. Салтыков-Щедрин

Я сам себе рассказываю сказки
И жду, когда они начнут сбываться ...

Юрий Кукин

Предыдущая статья была посвящена комментариям к первому тому «Заката Европы» Освальда Шпенглера. Уместно обсудить и второй том, не дожидаясь наступления 2022 г., когда исполнится сто лет со дня его выхода².

¹ Продолжение. Начало см.: *Клисторин В.И.* К столетию падения Запада и заката Европы // ЭКО. – 2017. – № 7. – С. 162–177.

² *Шпенглер О.* Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 2. Всемирно-исторические перспективы. – М.: Мысль, 1998. – 606 с. Все цитаты приведены по этому изданию.

Первый том обсуждаемой книги заканчивается главой, в которой Шпенглер пытается доказать кризис и упадок западной науки. Поскольку наука является важной частью культуры и цивилизации в целом, для него было важно показать, что европейская наука уже прошла пик своего развития и вступила в стадию деградации и упадка. В чем-то он был прав, поскольку действительно на грани XIX и XX веков многие отрасли европейской науки переживали кризис. Но не в том смысле, который Шпенглер вкладывал в это понятие, а скорее как период, предшествующий цепи научных революций, механизм которых описал Т. Кун. История науки в XX веке подтвердила правоту последнего. Шпенглер не придавал значения тому, что гениальные достижения сэра Исаака Ньютона или Готфрида Лейбница стали ступенью в последующих великих открытиях, но каждый следующий шаг в науке требует непропорционально больших усилий и затрат. И вообще, кризис – это далеко не всегда конец, чаще – необходимый этап для последующего прорыва.

Второй том «Заката Европы» вышел через четыре года после первого. Уже был подписан Версальский мирный договор и другие соглашения, зафиксировавшие положение стран после мировой войны, закончилась гражданская война в России, в Германии была свергнута монархия и разгромлены советские республики, повсеместно распространялись коммунистические, националистические настроения и нарастал антисемитизм. Хотя Шпенглер и не отказался от своего метода исторических аналогий, бурные события начала века постоянно заставляли его обращаться к экстраполяции.

Культуры и народы

На первый взгляд на фоне мировой войны и революций содержание второго тома выглядит сугубо академическим исследованием. Во-первых, из-за набора дополнительных аргументов в пользу идей, изложенных в первом томе. Пространные рассуждения о макрокосме и микрокосме, мире растений и животных, судьбе и причинности, существовании и бодрствовании понадобились лишь для того, чтобы разделить людей на героев и толпу. Во-вторых, это растянутое и эмоциональное объяснение того, что понимание важнее знания, а интуиция важнее теории. В-третьих, он заново формулирует необходимый для дальнейшего понима-

ния всей его концепции тезис о том, что постичь всемирную историю и угадать ее перспективы можно лишь оторвавшись от отдельных фактов и оставив в стороне объяснения причинно-следственных связей между ними.

Наконец, он утверждает, что общественное устройство и сама картина мира создаются активным меньшинством и служат этому меньшинству. Особенно это заметно при исследовании правовых систем, поскольку право Шпенглер рассматривает как квинтэссенцию культуры. «Всякое право содержит в себе в отвлеченной форме картину мира своего автора, и всякая историческая картина мира содержит политико-экономическую тенденцию, которая зависит не от того, что думает в плане теории тот или этот человек, но от того, чего на практике желает держащее в своих руках фактическую власть сословие, а тем самым – и законотворчество. Всякое право создается во имя всеобщности одним-единственным сословием» [С. 66]. Но потом Шпенглер делает неожиданный вывод: «Право делается не оружием, но обузой, и действительность продолжает двигаться дальше не вместе с историей права, но помимо нее» [С. 85].

Далее Шпенглер обсуждает то, что Л. Н. Гумилев назвал этногенезом. Начинает он с анализа души города и ее эволюции. Все великие культуры являются городскими, и в этом заложена предопределенность их гибели. Города разрастаются, создаются мировые города, становятся сосредоточием цивилизации и умирают от свободы, эмансипации и бездетности.

Разбирая соотношение понятий народа, расы и языка, Шпенглер приходит к выводу, что народы – это выдумка, расы – продукт ландшафта, а язык – это и есть человеческая деятельность. Языки рождаются, мигрируют и распространяются. Обсуждение им расовых различий показывает, что Шпенглер был незнаком с генетикой или, возможно, имел собственное понятие расы, отличное от общепринятого, поскольку писал о расовой энергии.

Все народы, по Шпенглеру, можно разделить на пранароды, культурные и феллахские народы. Первые представляют собой неорганизованную массу, «почву» для завоевателей, материал, с помощью которого кучка воинов творит историю. «Все великие события истории, собственно говоря, совершены народами не были, но скорее породили на свет их самих» [С. 168]. И далее он пишет: «Народы – это не языковые, не политические и не

зоологические единства, но единства душевные» [С. 173]. Народ объединяет общая культура, которая в своем развитии приводит к формированию нации. «Народ, по стилю принадлежащий одной культуре, я называю нацией и уже одним этим словом отличаю от образований, имеющих место до и после. В основе нации лежит идея» [С. 175]. В центре формирования нации лежит некий идеал, выразителем которого является аристократия и, прежде всего, военное сословие: «Перед историей всякую нацию представляет меньшинство. В начале раннего времени это меньшинство – знать, возникающая именно теперь как цвет народа» [С. 177]. Шпенглер явно идеализирует аристократию, которая предстает каждый раз как новое издание рыцарей Круглого стола Т. Мелори, героев В. Скотта или исландских саг.

Народы, аристократия которых не смогла создать нацию или утратила национальную идею в результате внутреннего разложения цивилизации, обречены на превращение в феллахские народы. Эти народы становятся жертвой потенциальных завоевателей.

«Именно в мировых столицах наряду с меньшинством, обладающим историей и переживающим в себе нацию, с меньшинством, ощущающим себя представителем нации и желающим вести ее за собой, возникает другое меньшинство – вневременные, внеисторичные, литературные люди, люди резонов и оснований, а не судьбы, внутренне отчужденные от крови и существования, сплошь мыслящее бодрствование, которое более не находит в понятии нации никакого “разумного” содержания» [С. 190].

Развивая идеи о том, что признаками упадка являются гиперурбанизация и социализм, он пишет: «Все улучшатели мира и граждане мира отстаивают феллахские идеалы вне зависимости от того, знают они об этом или же нет. Их успех означает сход нации со сцены внутри истории, и не в пользу вечного мира, но в пользу других наций. Мир во всем мире – это всякий раз одностороннее решение» [С. 191]. С его точки зрения, идеология пацифизма приводит к многократно большим жертвам и формирует психологию рабской толпы, настроение которой колеблется между долготерпением и внезапными приступами ярости.

Шпенглер о культуре России

В третьей главе Шпенглер наконец-то переходит от «аналитической» к «прогностической» части работы. Но читатель,

ожидающий футурологических построений или пророчеств в духе Нострадамуса, будет разочарован. В этой части работы автор обсуждает, главным образом, судьбы двух культур: арабской и русской. Правда, он вкладывает в эти понятия непривычный нам смысл. Так, арабскую культуру он выводит из персидской, вавилонской и восточно-христианской, пока она не находит свое завершение в исламе. Новые культуры, возникающие в обжитом ареале, не могут избавиться от культуры предшествующих цивилизаций и растворяются в них. Здесь явное противоречие с предыдущими рассуждениями, да и с нашими знаниями.

Китай, Индия, страны и народы Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии его не интересуют, так как, по его концепции, они уже прошли стадию цивилизации и влечат феллахское существование.

Рассматривая судьбу России и российской культуры, Шпенглер сначала проводит более или менее убедительные параллели с историей Западной Европы, но потом доказывает, что после реформ Петра I Россия потеряла свою магическую душу. «У Москвы никогда не было собственной души. Общество было западным по духу, а простой народ нес душу края в себе. Между двумя этими мирами не существовало никакого понимания, никакой связи, никакого прощения» [С. 199]. Для подтверждения этого тезиса он сравнивает мировоззрение и творчество Достоевского и Толстого. «Достоевский был крестьянин, а Толстой – человек из общества мировой столицы. Один никогда не мог внутренне освободиться от земли, а другой, несмотря на все свои отчаянные попытки, так этой земли и не нашел... Толстой – это Русь прошлая, а Достоевский – будущая. Толстой связан с Западом всем своим нутром. Он – великий выразитель петровского духа, несмотря даже на то, что он его отрицает».

Шпенглер видит прямую связь реформ Петра I, творчества Толстого и эксцессов большевистской революции. «Большевики не есть народ, ни даже его часть. Они низший слой “общества”, чуждый, западный, как и оно, однако им не признанный и потому полный низменной ненависти. То, что придало этой революции ее размах, была не ненависть интеллигенции. То был народ, который без ненависти, лишь из стремления исцелиться от болезни, уничтожил западный мир руками его же подонков,

а затем отправит следом и их самих – тою же дорогой. Христианство Толстого было недоразумением. Он говорил о Христе, а имел в виду Маркса. Христианство Достоевского принадлежит будущему тысячелетию» [С. 201]. Во-первых, это фактически не верно. Достоевский был в гораздо большей степени городским человеком и писателем, чем Толстой. Во-вторых, оба были скорее консерваторами и принадлежали к образованным сословиям. Наконец, художественная литература позволяет познакомиться с народом, но недостаточна для всеобъемлющих выводов.

Что роднит, по Шпенглеру, арабскую и русскую (в его понимании) культуры, – так это магическая душа, своеобразная разновидность благочестия, – безвольная покорность, исключая всякую субъектность личности. Для такого рода тоталитаризма необходимо единство государства, церкви и общества. «Государство, церковь и нация образуют духовное единство, а именно становящуюся зримой в живущем ныне человечестве часть правоверного *consensus*’а» [С. 252].

Рассматривая большевистскую революцию в России как очистительный этап, который должен покончить с русским западничеством и русской интеллигенцией, а после свержения большевизма позволит приступить к воссозданию собственной культуры, он пишет: «Бросив взгляд в любую книгу по истории религии, мы узнаем, что “христианство” пережило две эпохи великого идейного движения: в 0–500 гг. на Востоке и в 1000–1500 гг. – на Западе. Третья, им “одновременная”, наступит в первой половине следующего тысячелетия в русском мире» [С. 252].

Но коммунистический режим был свергнут не народом в его идейном искании, но городской интеллигенцией, партийной номенклатурой и разночинцами, стремившимися в упадочную Европу, а не в допетровскую Русь. Также сомнительно, судя по тенденции, что в русском мире назревает духовное возрождение. Более того, попытки его как-то стимулировать напоминают скорее пародию на формирование коммунистической идеологии и создание исторической общности «советский народ». Но проживем – увидим.

Религией Шпенглер называет духовное переживание, которое мобилизует человека и заставляет его действовать нерационально, принимать различные формы аскезы и даже идти на мученичество.

Знание русской литературы и, особенно, истории раскольничьих сект в их противостоянии государству и официальной церкви привели Шпенглера к выводу о противоположности западной фаустовской и русской магической души. «Человек Запада смотрит вверх, русский смотрит вдаль, на горизонт. Так что порыв того и другого в глубину следует различать в том отношении, что у первого это есть страсть порыва во все стороны в бесконечном пространстве, а у второго – самоотчуждение, пока “оно” в человеке не сливается с безграничной равниной» [С. 307]. Такая степень влияния ландшафта на культуру, религию и человеческое поведение представляется экстремистской.

Различия в мировосприятии Шпенглер переводит в область науки и технологии. «Нет сомнения в том, что наука здесь (на Западе – *В.К.*) с самого начала была не прислугой теологии, но служительницей технической воли к власти и лишь поэтому имела математическое и экспериментальное направление, являясь, по сути, практической механикой» [С. 313]. И далее: «Необходимо вполне свыкнуться с тем поразительным фактом, что идея тут же находить практическое применение всякому уяснению естественных взаимосвязей человеку как таковому нисколько не присуща за исключением человека фаустовского и тех, кто, как японцы, евреи и русские, пребывают сегодня под духовным очарованием фаустовской цивилизации» [там же].

Конфликт между культурой образованных горожан и народной приводит, по его мнению, к возникновению второй религиозности, т.е. возврату к «истокам», включая древние верования, которые меняют догматы официальной церкви. Это протест против рационализма и материализма и истоки нового фанатизма. «Однако то, что исходит от второй религиозности, – это не религиозное времяпровождение образованных и перекормленных литературой кругов и вообще даже не дух, но совершенно неприметная и возникающая сама собой наивная вера масс в некое мифическое устройство действительности, вера, для которой все доказательства начинают представляться игрой в слова, чем-то скучным и тоскливым, и в то же самое время – наивная потребность сердца покорно ответить мифу каким-то культом» [С. 324]. В этом он был, несомненно, прав, поскольку богоискательство, суеверия и конспирология распространяются в современной России (да и не только) как лесной пожар.

Таким образом, по Шпенглеру, в зрелой цивилизации должны возникать все новые культы. Более того, зрелые цивилизации распространяются на новые территории, что создает почву для конфликта между коренными и пришлыми культурами. Пришлые устанавливают свои порядки, но это не институциональный, а культурный конфликт. «Современный европеец повсюду смотрит на чужие судьбы сквозь призму понятий “конституция”, “парламент”, “демократия”, хотя применение таких представлений к другим культурам смехотворно и бессмысленно» [С. 334]. И далее: «В страшном сне не привидится, сколько всего уничтожила западноевропейская культура в областях, относящихся к сфере ее влияния, посредством реформ, проведенных в ее собственном стиле; и столь же разрушительно действует еврейство там, где за дело берется оно. Ощущение неизбежности этого взаимного недопонимания ведет к чудовищной, проникающей глубоко в кровь ненависти, укорененной в таких символических чертах, как раса, образ жизни, профессия, язык, и внутренне снедает, губит обе стороны, доводя дело до кровавых вспышек» [С. 335]. В качестве примеров крайней степени зверства Шпенглер указывает на восстание сипаев в Индии, боксерское восстание в Китае и большевистское неистовство евреев, латышей и других чуждых народов в России. Но дело не в столкновении культур и культов, а в мифологии вокруг них и ее использовании в политических целях.

Государство и сословия

Государство, по Шпенглеру, возникает параллельно с формированием высших сословий в соответствии с их заслугами. Для знати это воинская доблесть и честь, достигаемые воспитанием и муштрой в течение поколений, а для духовенства — личные заслуги. Наши знания о формировании протогосударств и государств показывают, что все обстоит несколько сложнее. Он полагал, что если процесс формирования сословного общества соответствует народному духу, то структура общества приобретает устойчивость и даже сакральный смысл. В качестве контрпримера приводится русская революция. «Легкость, с которой большевизм изничтожил в России четыре так называемых сословия Петровской эпохи (дворянство, купечество, мещанство и крестьянство), доказывает, что они были чистым

подражанием и порождались административной практикой, которая была лишена всякой символики, – а последнюю силой не удушить... Подлинные знать и духовенство в русском стиле оформятся лишь в будущем» [С. 349]. Видимо, он не обратил внимания на реплику Н. Макиавелли о том, что страну с жесткой центральной властью трудно завоевать, но зато ею потом легко управлять.

Шпенглер считал сословную организацию общества результатом естественного развития культуры и одновременно «основным каркасом» для ее развития. Высшие сословия, по Шпенглеру, уравновешивают друг друга. Разумеется, этот тезис соответствует в основном европейской истории. «Знать всех ранних времен была сословием в изначальнейшем смысле, воплощенной историей, расой в высшей ее потенции. Духовенство выступало рядом с ней как противосословие, говорящее “нет” во всех тех случаях, когда знать говорила “да”, и тем самым посредством великого символа оно выявляло иную сторону жизни» [С. 366].

Но наряду с ними в городах формируется третье сословие, которое Шпенглер называет «несословием», поскольку единственное, что его объединяет, это протест против сословности и ее символов. Критика существующего порядка ведется под лозунгом борьбы с привилегиями. Когда культура вступает в завершающую стадию цивилизации, а городское население численно разрастается, третье сословие уничтожается превращением в четвертое сословие – плебс, массу, принципиально отвергающую культуру с ее органическими формами. «Это нечто абсолютно бесформенное, с ненавистью преследующее любого рода форму, все различия в ранге, всякое упорядоченное владение, упорядоченное знание. Это новые кочевники мировых столиц... Масса – это конец, радикальное ничто» [С. 377].

Он доказывал, что в государствах правит лишь одно-единственное сословие и даже его часть. Кроме того, внутренняя политика проводится для обеспечения внешней политики. Отсюда вывод: «Быть от чего-то свободными желают все; однако перед лицом насилия исторических фактов дух желал государства как реализации “справедливости”, или всеобщих прав человека, или свободы критики господствующей религии; а деньги желали себе свободы ради экономических успехов» [С. 423].

Далее следует пессимистический вывод: «Если понимать под демократией форму, которую третье сословие как таковое желает придать всей вообще общественной жизни, то следует прибавить, что по значению демократия и плутократия равны меж собой» [С. 425]. С этим выводом был бы солидарен В. Парето, считавший демократию синонимом коррупции.

Шпенглер не верил в народные движения и революции: «Нет на свете ни пролетарского, ни даже коммунистического движения, которое бы не действовало в интересах денег» [С. 426]. Единственным реальным следствием революций является бонапартизм.

Бонапартизм как неизбежное следствие кризиса демократии означает вступление в эпоху колоссальных внутренних и внешних конфликтов. «Переход от бонапартизма к цезаризму, всеобщая стадия развития продолжительностью, по меньшей мере, в два столетия, обнаруживающаяся во всех культурах. Китайцы называют ее Чжаньго – эпоха борющихся государств (480–230, в античности приблизительно 300–50)» [С. 442].

Эта эпоха империализма по Шпенглеру должна продолжаться два века: «Для нас эпоха борющихся государств началась с Наполеона и его насильственных мероприятий» [С. 456]. Войны и подготовка к ним (гонка вооружений) сопровождали весь XIX век, но особенно развернутся в XX веке – на новом качественном уровне: «Постоянные армии будут впредь постепенно сменяться профессиональными армиями добровольных и бредящих войной солдат, миллионы снова сменяются сотнями тысяч, однако как раз по этой причине предстоящее второе столетие будет действительно столетием борющихся государств. Ибо простое существование этих армий войны вовсе не отменяет. Они здесь для войны, и они ее хотят. Через два поколения появятся те, чья воля сильнее суммарной воли всех жаждущих покоя. В эти войны за наследство целого мира будут вовлечены континенты, мобилизованы Индия, Китай, Южная Африка, Россия, ислам, в дело будут введены новые и сверхновые техника и тактика» [С. 457].

Попытки предотвратить войны бессмысленны и бесполезны: «Гаагская мирная конференция 1907 г. была прелюдией мировой войны. Вашингтонская 1921 г. явится ею для новых войн» [С. 458]. Войны потребуют у нации максимального напряжения

сил, и выиграет та, которая сможет это выдержать: «Последняя раса, остающаяся “в форме”, последняя живая традиция, последний вождь, опирающийся на то и другое, – они-то и рвут ленточку на финише как победители» [С. 459]. Это эпоха цезаризма, правление без всякой сентиментальности, зато прагматическое и ориентированное исключительно на решение ближайших задач без учета отдаленных последствий.

Философия политики

Политика, по Шпенглеру, это война. Политик не должен руководствоваться какой-то идеологией, принципами и теориями. Политик, прежде всего, интуитивист. «Великие государственные деятели имеют обыкновение действовать непосредственно, причем на основе глубокого чутья фактов. Для них это настолько естественно, что им и в голову не приходит задумываться над общими фундаментальными понятиями этой деятельности – если предположить, что такие вообще существуют» [С. 465].

Самое важное в политике – это личность: «Бывает только личностная история и в силу этого только личностная политика. Схватка не принципов, но людей, не идеалов, но расовых черт за обладание исполнительной властью – вот что является здесь альфой и омегой, и никаким исключением отсюда не оказываются также и революции, ибо “суверенитет народа” – это лишь слова, означающие, что господствующая власть приняла вместо королевского титула звание “народного вождя”» [С. 467].

Отсюда глубокое презрение к демократическим институтам и избирательному праву, поскольку имеются технологии «делать» выборы, будь то древнеримская, американская или немецкая система. «Что до свободной прессы, то пускай мечтатели удовольствуются тем, что она “свободна” по конституции; знаток же спрашивает лишь о том, в чьем распоряжении она находится» [С. 474].

По Шпенглеру, цель политики исключительно экспансивна. Политик должен держать собственный народ «в форме» для достижения внешних целей. И для этого он должен возглавить исполнительную власть и реализовывать собственные задачи. Это основные принципы правления вообще. «Никакой одаренный вождь масс, ни Клеон, ни Робеспьер, ни Ленин, не относился к своей должности как-то иначе» [С. 475].

Демократия отрицает сословия. Поэтому вместо сословного представительства приходит партийное. Подобно тому, как сословия сдерживают друг друга, партии уравнивают интересы буржуазии. «Марксизм, в теории являющийся отрицанием буржуазии, ультрабуржуазен как партия по повадкам своим и руководству [С. 478]. Имеются партии, только прикидывающиеся либеральными; так консерваторы под либеральными лозунгами стремятся воссоздать сословную структуру и привести расовое содержание в политику.

Конец демократии и переход к цезаризму выражаются в том, что исчезает партия как форма политической жизни. Стоит какому-то движению самоорганизоваться, как его сторонники становятся орудием организации, которая очень быстро становится орудием вождя. «Воля к власти сильнее всякой теории. Вначале руководство и аппарат возникают ради программы, затем те, кто к ним пробился, защищают свои места из-за власти и добычи» [С. 480].

Содержание политических программ, равно как и их критика не имеют значения: «Такие сочинения, как “Общественный договор” и “Манифест коммунистической партии”, становятся первоклассными средствами власти в руках сильных людей, поднявшихся в партийной жизни наверх и знающих толк в том, как формировать и использовать убеждения подвластной им массы» [С. 482].

Кризис демократии есть и кризис теорий общественного устройства. Великие теории либерализма и социализма возникли в период между 1750 и 1850 гг. «Чистой теорией остается также и идеальное фундаментальное право западноевропейских конституций, а именно право масс свободно определять своих представителей, ибо всякая развитая организация на деле пополняет сама себя... Свобода, как всегда, исключительно негативна» [С. 485].

Последний гвоздь в гроб демократии вбивают средства массовой информации: «Что есть истина? Для толпы истина – это то, что приходится читать и слышать постоянно» [С. 491].

Завершает свои рассуждения Шпенглер следующим резюме: «С помощью денег демократия уничтожает саму себя – после того как деньги уничтожили дух. Однако именно вследствие того, что рассеялись все грезы насчет какой бы то ни было возможности улучшения действительности с помощью идей

какого-нибудь Зенона или Маркса и люди выучились-таки тому, что в сфере действительности одна воля к власти может быть ниспровергнута лишь другой такой же (вот великий опыт, постигаемый в эпоху борющихся государств), в конце концов пробуждается глубокая страсть ко всему, что еще живет старинной, благородной традицией. Капиталистическая экономика опротивела всем до отвращения. Возникает надежда на спасение, которое придет откуда-то со стороны, упование, связываемое с тоном чести и рыцарственности, внутреннего аристократизма, самоотверженности и долга. И вот наступает время, когда в глубине снова просыпаются оформленные до последней черты силы крови, которые были вытеснены рационализмом больших городов. Все, что уцелело для будущего от династической традиции, от древней знати, что сохранилось от благородных, возвышающихся над деньгами нравов, все, что достаточно сильно само по себе, чтобы (в согласии со словами Фридриха Великого) быть слугой государства (при этом обладая неограниченной властью) в тяжелой, полной самоотверженности и попечения работе, т.е. все, что я в противоположность капитализму означил как социализм» [С. 447].

Об экономике

Шпенглер обсуждает не столько экономические проблемы, сколько саму науку.

Прежде всего, для него экономика – это некий дух, а история экономики – история культуры. Поэтому анализ хозяйственной деятельности не следует искать в сфере самой экономики. Все экономисты в действительности анализируют лишь образ мысли только одной нации, да и то в определенный период времени. «В экономике нет никакой системы. Всякая экономическая жизнь есть выражение душевной жизни» [С. 497]. По его мнению, пока еще не создано подлинной политической экономии, она должна стать исторической наукой, а не той или иной системой бухгалтерии. Более того, наука и не нужна для ведения хозяйства подобно тому, как всадник не нуждается в знании зоологии.

Экономика, как и другие стороны жизни, для Шпенглера является делом творческого меньшинства. «Политика и торговля в развитой форме, как искусство с помощью духовного превосходства приобретать материальные преимущества над

противником, обе являются заменой войны другими средствами. Всякая дипломатия имеет предпринимательскую природу, всякое предпринимательство – природу дипломатическую, и оба они основываются на проницательном знании людей и физиогномическом такте. Предпринимательский дух великих мореходов, какой мы находим у финикийцев, этрусков, норманнов, венецианцев, ганзейцев, толковых банкиров, как Фуггеры и Медичи, могущественных финансистов, как Красе, угольные короли и директора трестов наших дней, требует – раз операция должна увенчаться успехом – стратегического дара полководца» [С. 503].

Так же как и В. Зомбарт, он связывает предпринимательство и хозяйственную жизнь вообще с расовыми особенностями, которые позволяют вырабатывать необходимые деловые качества и исключать моральный фактор.

Современная экономика – это соревнование технологий, которые создаются относительно небольшим числом ученых и инженеров. Без их творчества не было бы ничего. Поэтому количественные оценки их отдачи являются пустой тратой времени. Рабочие, предприниматели и управленцы вынуждены подчиняться технологии. Однако среди рабочих зреет движение против машин и технологии вообще, а расширение власти денег подчиняет развитие технологии денежным спекуляциям [С. 536].

Наконец, необходим творческий труд организатора производства. «Всякий поток существования состоит из меньшинства вождей и большинства ведомых, а значит, всякая экономика – из труда руководящего и исполнительского. Приземленному взгляду Маркса и социалистических идеологов вообще виден лишь последний, мелкий, массовый труд, однако он появляется лишь вследствие первого, и дух этого мира труда может быть понят лишь исходя из высших возможностей. Меру задает изобретатель паровой машины, а не кочегар. Мышление – вот что важно» [С. 525].

По Шпенглеру, современная экономика – это городская экономика. Подчинив и уничтожив традиционную сельскую экономику, она концентрируется в немногих мировых столицах, а точнее на биржах. Далее следуют два неожиданных пророчества. Первое связано с Россией, в которой будет создана третья разновидность христианства, отрицающая деньги как мерило

успеха. Но, в конечном счете «Русь снова смирится с западной экономикой, как смирились с римской экономикой древние христиане, а христиане готики – с еврейской, однако внутренне она в ней больше не участвует» [С. 528].

Завершает обсуждение экономики Шпенглер предсказанием ее неизбежного конца: «Появление цезаризма сокрушает диктатуру денег и ее политическое оружие – демократию... Меч одерживает победу над деньгами, воля господствовать снова подчиняет волю к добыче. Если называть власть денег капитализмом, а социализмом – волю к тому, чтоб вызвать к жизни мощный, возвышающийся над всеми классовыми интересами политико-экономический порядок, систему благородного попечения и долга, удерживающую все в целом в стабильной форме для решающих битв истории, это будет в то же самое время и борьба между деньгами и правом» [С. 538].

Послесловие

Шпенглер был великий писатель в том смысле, что он создал свой собственный особый мир, в котором он жил, творил и который яростно защищал, но не столько от потенциальных критиков, сколько от собственных сомнений.

Это очень эмоциональная книга. В этом ее сила и слабость. Сила, поскольку в ней множество ярких запоминающихся фраз, почти осязаемых образов, дерзких выводов. Слабость, поскольку в работе множество противоречий и тенденциозных высказываний. Поскольку отдельные комментарии приведены выше, сформулирую общий вывод. Из-за манеры изложения и используемой автором терминологии невозможно однозначно подытожить, симпатизировал ли Шпенглер национал-социализму или считал его приход неизбежным. Но очевидно, что он явно недооценивал возможности механизмов сдерживания внутривидовой агрессии как в мире животных, так и в мире людей. Его восхищение аристократией, людьми крови, расы и идеи служения высшим интересам нации достаточно беспочвенно. Он яростно критиковал все теории общественного развития и социальной динамики, писал о бессмысленности всякой теории и... попытался создать свою собственную.